



БЕРНХАРД
ШЛИНК

*Дезертиры
любви*

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИНОСТРАНКА»

Большой роман

Бернхард Шлинка
Дезертиры любви

«Азбука-Аттикус»

2000

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гем)-44

Шлинк Б.

Дезертиры любви / Б. Шлинк — «Азбука-Аттикус»,
2000 — (Большой роман)

ISBN 978-5-389-17533-4

В сборнике рассказов «Дезертиры любви» Бернхард Шлинк, один из самых известных современных немецких писателей, прославленный автор международного бестселлера – романа «Чтец», исследует разные лики любви: от любви-привычки до любви, открывающей новые, неведомые горизонты. Что такое любовь? Почему люди так жаждут любви и почему бегут от нее? Почему не берегут свою любовь, пока не оказывается слишком поздно? Семь печальных лирических историй Шлинка – семь возможных ответов на эти вопросы.

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-389-17533-4

© Шлинк Б., 2000
© Азбука-Аттикус, 2000

Содержание

Девочка с ящеркой	6
Другой мужчина	26
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Бернхард Шлинк

Дезертиры любви

Bernhard Schlink
Liebesfluchten

© 2000 by Diogenes Verlag AG Zürich

© Б. Н. Хлебников, перевод, 2003

© Г. Б. Ноткин, перевод, 2019

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2019

Издательство Иностранка®

* * *

Девочка с ящеркой

1

Картина изображала девочку с ящеркой. Они и смотрели друг на друга, и не смотрели, девочка глядела на ящерку мечтательно, а у той глаза были невидящими, блестящими. Поскольку девочка витала в мечтах где-то далеко, она вела себя так тихо, что и ящерка замерла на обломке скалы, к которому полулежа прислонилась девочка. Ящерка застыла с поднятой головкой и высунутым длинным язычком.

Мать мальчика называла изображенную на картине девочку «евреечкой». Когда родители ссорились и отец вставал из-за стола, чтобы скрыться в кабинете, где висела картина, мать кричала ему вслед: «Иди-иди к своей евреечке!» – а иногда она спрашивала: «Разве этой картине с евреечкой тут место? Ведь мальчику приходится спать под ней». Картина висела над кушеткой, на которой мальчик спал после обеда, пока отец читал газеты.

Он не раз слышал, как отец внушал матери, что девочка на картине вовсе не еврейка. Дескать, алая бархатная шапочка, плотно надетая на пышные каштановые локоны, которые, выбиваясь наружу, делали шапочку едва заметной, – это отнюдь не религиозный, даже не фольклорный предмет гардероба, а всего лишь модный аксессуар. «Девочки носили тогда такие вещи. Кроме того, ермолку надевают у евреев мужчины, а не женщины».

На девочке была темно-красная юбка, поверх яркой желтой блузы было что-то вроде оранжевого корсажа, ленты которого завязывались на спине. Впрочем, в основном фигуру и одежду заслонял обломок скалы, на который девочка положила свои по-детски пухлые руки, уткнувшись в них подбородком. Ей было лет восемь. Лицо выглядело вполне детским. Однако ее взгляд, пухлые губы, кудри на лбу и ниспадающие на плечи и спину волосы казались уже не детскими, а женственными. Тень от локонов на щеке и на виске скрывала некую тайну; пышный рукав, в котором исчезало голое предплечье, манил искушением. В море, которое за обломком скалы и узкой береговой полоской простиралось до самого горизонта, перекачивались тяжелые волны, лучи солнца, пробивавшиеся сквозь тучи, поблескивали на воде, светились на лице девочки, на ее руках. Природа дышала страстью.

Или, может, все было пронизано иронией? Страсть, искушение, тайна и женщина, пробуждающаяся в ребенке? Может, ирония и была повинна в том, что картина не только притягивала к себе мальчика, но и приводила его в замешательство? Он часто испытывал чувство замешательства. Это происходило, когда родители ссорились, когда мать задавала ехидные вопросы, а отец, читая газету и дымя сигарой, демонстрировал невозмутимость и превосходство, в то время как атмосфера в кабинете казалась настолько наэлектризованной, что мальчик не решался пошевелиться, даже почти не дышал. Его приводили в замешательство едкие реплики матери насчет евреечки. Да мальчик и не знал, что означает это слово.

2

Неожиданно мать прекратила разговоры о евреечке, а отец перестал пускать мальчика к себе в кабинет на послеобеденный сон. Какое-то время приходилось спать в собственной комнате, там же, где и ночью. Потом послеобеденный сон вообще отменился. Мальчик был рад этому. Ему исполнилось девять лет, его одноклассники и ровесники давно не спали после обеда.

Он скучал по девочке с ящеркой. Время от времени он прокрадывался в кабинет, чтобы взглянуть на картину и хоть недолго молчаливо поговорить с девочкой. За тот год он быстро вырос, сначала его глаза были на уровне тяжелой золотой рамы, потом на уровне обломка скалы на картине и наконец оказались на уровне глаз девочки.

Он был сильным мальчиком, крупным, широким в кости. Когда он вытянулся, то его неуклюжесть выглядела не столько трогательной, сколько, пожалуй, угрожающей. Ребята опасались его, даже те, кому он во время игры, соревнований или потасовок старался помочь. Он оставался аутсайдером. И сам признавал это. Правда, он не понимал, что остается аутсайдером из-за своей внешности, телосложения и силы. Он думал, что дело во внутреннем мире, с которым и в котором он жил. Он не разделял его ни с одним из приятелей. Впрочем, никого туда и не приглашал. Если бы он был ребенком нежного склада, то, возможно, сошелся бы с другими нежными детьми, друзьями и товарищами по совместным играм. Но как раз таких детей он отпугивал особенно сильно.

Его внутренний мир был населен не только персонажами, с которыми он знакомился по книгам, по фильмам или картинкам, но и персонажами из внешнего, реального мира, приобретавшими, однако, иной вид. Он чувствовал, как за тем, что являет внешний мир, скрывается еще нечто, что не проявляется вовне. Так, учительница по музыке что-то утаивала, приветливость домашнего доктора была искусственной, а соседский мальчик, с которым он иногда играл, был неискренен – он чувствовал все это задолго до того, как узнал о склонности соседского мальчишки к воровству, о болезни учительницы и о пристрастии врача к мальчикам. То сокровенное, что не являло себя, он чувствовал не сильнее и не раньше других. Он не пытался и проникнуть в это сокровенное. Он предпочитал фантазировать, поскольку фантазии всегда оказывались ярче, волнительнее, чем действительность.

Дистанция между его внутренним миром и внешним соответствовала дистанции, которая, по ощущениям мальчика, наличествовала между его семьей и другими людьми. При этом отец его, будучи судьей в городском суде, стоял, как говорится, обеими ногами на земле. Мальчик видел, что отца радуют солидность его должности и знаки уважения, отец с удовольствием ходил в ресторан – постоянное место встречи авторитетных в городе людей, ему нравилось иметь определенное влияние на городскую политику, он согласился на избрание себя пресвитером в церковной общине. Родители участвовали в общественной жизни города. Они ходили на летний бал и на карнавалы торжества, устраивали обеды и принимали приглашения на обед. День рождения мальчика отмечался, как положено: на пятый день рождения пригласили пятерых гостей, на шестой – шестерых и так далее. И вообще все происходило так, как это считалось принятым в пятидесятые годы, с должной церемонностью и дистанцированностью. Но эта церемонность и дистанцированность вовсе не походили на то, что ощущал мальчик в качестве дистанции между своей семьей и другими людьми. Скорее, дело было в том, что родители, казалось, также что-то утаивали. Они всегда оставались начеку. Когда кто-либо рассказывал анекдот, они смеялись не сразу, а выжидали, как отреагируют остальные. На концерте или в театре начинали аплодировать лишь тогда, когда раздавались общие аплодисменты. В разговоре с гостями они воздерживались от высказывания собственного мнения, ждали, пока не будет произнесено близкое суждение, и лишь потом присоединялись к нему. Иногда отцу все-таки приходилось занимать определенную позицию и говорить об этом. Тогда он выглядел весьма напряженным.

А может, отец просто проявлял тактичность и не хотел никому ничего навязывать? Мальчик задался этим вопросом, когда стал постарше и мог более осознанно воспринимать осмотрительность своих родителей. Он спрашивал себя и о том, почему родители с такой настойчивостью заботятся об отдельности своей спальни. Доступ в спальню родителей был ему запрещен, даже когда он был совсем маленьким, ему не разрешалось заходить туда. Правда, родители никогда не запирали дверь спальни. Впрочем, хватало недвусмысленности запрета

и незыблемости родительского авторитета – по крайней мере, до тех пор, пока однажды мальчик, которому к этому времени исполнилось тринадцать лет, не воспользовался отсутствием родителей и не заглянул в дверь, чтобы увидеть две отдельно стоящие кровати, две ночные тумбочки, два стула, деревянный шкаф и металлический шкафчик. Может, родители хотели скрыть, что не спали в одной постели? Или стремились воспитать в нем уважение к приватной сфере? Во всяком случае, они и сами никогда не заходили в его комнату без стука и приглашения войти.

3

Заходить в отцовский кабинет мальчику не запрещалось. Хотя там висела таинственная картина с девочкой и ящеркой.

В третьем классе гимназии учитель задал домашнее сочинение, в котором следовало описать какую-нибудь картину. Выбор картины отдавался на собственное усмотрение. «А надо приносить с собой картину, которая будет описана?» – спросил один из учеников. Учитель качнул головой: «Картину надо описать так, чтобы каждый читающий сочинение увидел ее перед собой». Мальчику сразу было ясно, что он будет описывать картину с девочкой и ящеркой. Он даже обрадовался такой возможности. Ведь предстояло внимательно изучить картину, а потом перевести изображение в слова и фразы, с помощью которых следовало воспроизвести картину для учителя и одноклассников. Радовался он и возможности посидеть в отцовском кабинете. Его окна выходили в узкий дворик, дневной свет и уличный шум были приглушенными, стенные стеллажи заставлены книгами, витал терпкий дух сигарет.

Отец не пришел к обеду домой, поэтому мать сразу же отправилась в город. Мальчику даже не пришлось спрашивать разрешения, он попросту уселся в кабинете, принялся рассматривать картину и писать. «На картине видно море, кусок берега, дюну и обломок скалы, а на ней девочку с ящеркой». Нет, учитель говорил, что начинать надо с переднего плана, перейти к среднему плану, а потом к заднему. «На переднем плане изображена девочка с ящеркой на обломке скалы или на дюне, дальше идет берег, а позади виднеется море». А это действительно море? И волны? Только волны бегут не от среднего плана в глубину, а из глубины к среднему плану. К тому же «средний план» звучит ужасно, хотя «передний» или «задний план» не лучше. А девочка? Разве это все, что можно сказать о ней?

Мальчик начал заново. «На картине изображена девочка. Она видит ящерку». Но и это было не все, что можно было сказать о девочке. Мальчик продолжил: «У девочки бледное лицо и бледные руки, каштановые волосы, на ней светлая блузка и темная юбка». Но и этого показалось мало. Он сделал еще одну попытку. «Девочка смотрит на ящерку, которая греется на солнышке». Разве это верно? Скорее, девочка смотрит не на ящерку, а поверх или даже сквозь нее. Мальчик помедлил. Потом решил. За первой фразой последовала вторая: «Девочка очень красива». Фраза получилась верной, а вместе с ней начало получаться и все остальное.

«Девочка смотрит на ящерку, которая греется на солнышке. Девочка очень красива. У нее тонкое лицо, гладкий лоб, прямой нос, а на верхней губе впадинка. У нее карие глаза и каштановые волосы. Хорошо видна только ее голова, но все остальное не так важно. А именно ящерица, скала или дюна, берег и море».

Теперь мальчик был доволен. Нужно только разобраться с передним, средним и задним планом. Особенную гордость вызывало выражение «а именно». Звучало элегантно и по-взрослому. Гордился он и тем, что назвал девочку красивой.

Он остался на месте, когда услышал, как отец открывает входную дверь. Слышно было, как отец ставит портфель, снимает и вешает пальто, заглядывает на кухню и в гостиную, стучится в детскую.

– Я здесь, – крикнул мальчик, он ровно положил черновые листы на свою тетрадь, рядом легла авторучка. Так обычно размещались на отцовском рабочем столе папки с документами, бумага и письменные принадлежности. – Я сел сюда, потому что нам задали сочинение с описанием картины, вот я и описываю картину. – Он выпалил свое объяснение, едва дверь кабинета открылась.

Отцу понадобилось некоторое время.

– Какую картину? Чем ты занимаешься?

Пришлось повторить объяснение. По отцовской позе, по его взгляду на картину, по морщинам на лбу мальчик сообразил, что сделал что-то не так.

– Тебя ведь не было дома, и я подумал...

– Ты... – Голос отца прозвучал сдавленно, мальчик даже съежился, решив, что сейчас на него накричат. Но отец удержался. Покачав головой, он сел на вращающееся кресло между письменным столом и столиком, где обычно раскладывались папки с судебными делами и за которым с другой стороны сидел мальчик. Картина висела позади отца над письменным столом. Расположиться прямо за письменным столом мальчик не решился. – Не считаешь ли, что сочинил?

Мальчик начал читать, гордясь и робея одновременно.

– Весьма недурно, мой мальчик. Я прямо-таки вижу картину перед собой. Только... – он помедлил, – это не предназначено для посторонних. Лучше тебе описать другую картину.

Мальчик был рад, что отец не накричал на него, заговорил так ласково и доверительно, поэтому был готов согласиться с чем угодно. И все-таки недоумение было слишком сильным.

– А почему эта картина не предназначается для посторонних?

– Разве ты не сохраняешь некоторые вещи для себя? Разве ты всем делишься с друзьями и тебе всегда необходимо их присутствие? Люди могут позавидовать, поэтому не стоит показывать им свои сокровища. Их либо расстроит, что у них нет того, чем обладаешь ты, либо в них проснется жадность и они захотят отнять у тебя то, что им не принадлежит.

– А разве эта картина – сокровище?

– Сам знаешь. Ведь ты замечательно описал ее, так говорят только о сокровищах.

– Она такая дорогая, что другие могут позавидовать?

Отец повернулся, взглянул на картину.

– Да, весьма дорогая. Не уверен, что сумел бы ее уберечь, если бы кто-либо позарился на нее. Поэтому лучше, чтобы никто не знал, что она у нас есть, ладно?

Мальчик кивнул.

– Давай-ка посмотрим альбом с репродукциями, ты наверняка найдешь что-нибудь подходящее.

4

Когда мальчику исполнилось четырнадцать лет, отец ушел с судейской должности, получив место в страховой компании. Мальчик чувствовал, что это получилось против желания отца, хотя тот никогда не жаловался. Не стал отец и вдаваться в объяснения. Лишь годы спустя мальчик узнал причину. Тогда им пришлось сменить прежнюю служебную квартиру на более скромную. Вместо бельэтажа в принадлежащем городу пятиэтажном здании вильгельминского стиля они теперь снимали одну из двадцати четырех квартир в типовом доме, построенном на окраине в рамках социальной жилищной программы. Четыре комнаты были маленькими, потолки низкими, из соседних квартир постоянно доносились шумы и запахи. Зато комнат было все-таки четыре – гостиная, спальня, детская, а отец сумел сохранить кабинет. Он уединялся там по вечерам, хотя больше не приносил с собой на дом работу.

– Пить ты можешь и в гостиной, – сказала однажды вечером мать, – к тому же и пить, может, станешь меньше, если согласишься перекинуться со мной хоть парой слов.

Изменилось и общение родителей с другими людьми. Прекратились званые обеды, вечера для дам или мужчин, когда мальчику приходилось принимать гостей у дверей, чтобы вешать их пальто в гардероб. Он скучал по тому настроению, которое воцарялось в доме, когда в гостиной накрывался стол с сервизом из белого фарфора и серебряными канделябрами, а родители, заканчивая поправлять фужеры, пепельницы и коробки с сигарами или тарелочки с печеньем, ожидали первых звонков. Он скучал по некоторым из прежних знакомых родителей. Иногда они расспрашивали его об успехах в школе или о других занятиях и даже вспоминали при следующих визитах, что именно он отвечал им в прошлый раз. Один хирург показывал ему операцию на плюшевом мишке, а геолог рассказывал об извержениях вулканов, землетрясениях и странствующих дюнах. Особенно скучал он по одной даме. Она отличалась от худощавой, нервной, суетливой матери своей дородностью и жизнерадостным добродушием. Когда он был совсем маленьким, она закутывала его своей шубой, у которой скользкая и блестящая шелковая подкладка пахла ее духами. Потом она дразнила его мнимым сердечеством, которого за ним никогда не водилось, отчего он смущался, испытывая одновременно некую гордость; порой она играючи накрывала его полую шубу, и он на миг чувствовал мягкость и тепло женского тела.

Минуло довольно много времени, прежде чем появились новые гости. Это были соседи, коллеги отца по страховой компании или сотрудницы матери, которая теперь работала машинисткой в полицейском управлении. Мальчик замечал неуверенность в поведении родителей, которым хотелось освоиться в новом для них мире, не отрекаясь от старого; отсюда либо излишняя чопорность, либо чрезмерная фамильярность.

Мальчику тоже пришлось прилаживаться к иным условиям. Родители перевели его из прежней гимназии, которая находилась в нескольких шагах от старой квартиры, в новую, которая опять-таки располагалась поблизости от дома. Нравы в новом классе были поглубже, так что он уже не особенно выделялся среди остальных. Еще целый год он продолжал ходить к преподавательнице, которая давала уроки игры на пианино. Но потом родители сочли его музыкальные успехи ничтожными, уроки закончились, пианино было продано. А он дорожил велосипедными поездками на уроки музыки, поскольку проезжал не только мимо старой квартиры, но и мимо соседнего дома, где жила девочка, с которой он раньше иногда играл или ходил вместе по дороге в гимназию. У нее были густые рыжие волосы до плеч, веснушчатое лицо. Возле ее дома он притормаживал, надеясь, что она выйдет из подъезда, поздоровается, а он вызовется пройти с ней, поведет велосипед рядом, само собой получится, что они договорятся о следующей встрече. Даже не договорятся, а просто он узнает, где и когда она будет, и окажется там же. Он был еще слишком юн, чтобы назначать свидание.

Но увидеть ее во время велосипедных поездок ему не удавалось.

5

Неверно полагать, будто человек принимает жизненно важные решения, лишь будучи достаточно взрослым. Ребенок способен на столь же решительный шаг, определяющий его поступки и образ жизни. Конечно, ребенок не вечно придерживается однажды принятого решения, но ведь взрослые также отказываются от данных себе зарок.

Через год мальчик решил добиться к себе уважения в новом классе и в своем окружении. Это было не трудно, помогла сила, а кроме того, ум и находчивость, поэтому вскоре он занял место среди лидеров в той иерархии, которая существовала в его классе, основываясь, как и в любом другом классе, на зыбкой смеси разных качеств вроде силы, дерзости, бойкости на язык,

а также состоятельности родителей. Такие имели вес и у девочек, правда не в своей школе, где девочек не было, а в женской гимназии, которая находилась неподалеку.

Мальчик ни в кого не влюблялся. Он просто выбирал себе девочку, которая пользовалась бы авторитетом, имела бы броскую внешность, бойкий язычок, репутацию труднодоступной, но опытной в отношениях с мальчиками. Он импонировал ей своей силой, уважением сверстников, а также тем, что вроде было у него что-то такое, чего она не могла получить у других, хотя желала этого. Он чувствовал это и порой давал понять, что обладает неким сокровищем, которое показывает далеко не каждому, однако, может, согласится показать ей, если... Если что? Если она будет гулять с ним? Целоваться? Спать? Он и сам точно не знал. Прилюдное ухаживание, которое делало ее все более и более податливой, было интереснее, азартнее, обещало больше, чем то, что происходило наедине. Пройтись с приятелями после уроков к женской гимназии, где, прислонившись к чугунной ограде, стояла она с подружками, положить ей руку на плечи, будто это само собой разумеется, или посылать ей воздушный поцелуй, болея за ее команду, когда девочки играли в гандбол, или прогуливаться с ней по пляжу, обращая на себя восхищенное внимание.

Первый же раз, когда они спали, обернулся для него катастрофой. У нее было достаточно опыта, чтобы иметь определенные ожидания, но все-таки не достаточно, чтобы помочь ему справиться с неловкостью. А у него не было той уверенности, которую придает влюбленность и которая скрашивает неловкость первого раза. Когда после закрытия купальни и обхода, сделанного сторожем, они прильнули за кустами друг к другу, ему вдруг все показалось фальшивым – поцелуи, ласки, желание. Все было не так. Словно предавалось все то, что он любил сейчас или раньше, – ему вспомнилась мать, ее подруга с шубой, соседская девочка с рыжими вихрами и веснушками, девочка с ящеркой. Когда все оказалось позади – неуклюжесть в обращении с презервативом, его слишком быстрый оргазм, неумелые, а ей даже неприятные попытки удовлетворить ее рукой, он прижался к ней, ища утешения за свой провал. Но она поднялась, оделась и ушла. Он остался лежать, съживившись, уставившись на ветви куста, под которым лежал на прошлогодней листве, на свое белье, на сетчатую ограду. Он оставался лежать, хотя замерз; ему почудилось, что надо промерзнуть, чтобы забыть их плачевное свидание, тщеславные ухаживания нескольких месяцев, как, наоборот, бывает нужно пропотеть, чтобы избавиться от простуды. В конце концов он встал и проплыл несколько кругов в большом бассейне.

Когда за полночь он вернулся домой, дверь в освещенный отцовский кабинет была открыта. Отец лежал на кушетке, храпел, от него разило перегаром. Одна из книжных полок свалилась, ящики письменного стола были вытащены и опустошены, на полу валялись книги и листы бумаги. Удостоверившись, что картина цела, мальчик выключил свет и закрыл за собой дверь.

6

Перед самым окончанием школы, когда, по существу, оставалось только ждать выдачи аттестата с оценками, он поехал в соседний крупный город. Предстояло ехать на поезде около полутора часов; за все эти годы он мог побывать там в театре, на выставке или на концерте, однако ни разу не сделал этого. Лишь однажды родители взяли его, маленького мальчика, с собой, чтобы показать тамошние церкви, ратушу, здание суда и большой парк в центре города. После переезда на новую квартиру родители вообще прекратили подобные экскурсии как с ним, так и без него, а возможность отправиться куда-либо одному ему поначалу как-то не приходила в голову. Позднее такая возможность стала ему уже не по карману. Отец лишился должности из-за пристрастия к алкоголю, мальчику пришлось параллельно с учебой в школе подрабатывать, а деньги отдавать матери. Только теперь, когда в связи с окончанием школы пришла пора настраиваться на скорый отъезд из города, он приготовился внутренне к тому,

что родители останутся предоставленными самим себе, поэтому решил тратить заработанные деньги по собственному усмотрению.

Он не искал музей современного искусства, а оказался поблизости случайно. В музей зашел, поскольку здание его поразило причудливой смесью архитектурных стилей: современная простота, с одной стороны, холодная мрачность – с другой, и все это сочеталось с китчем затейливых дверей и эркеров. Экспозиция отличалась широким диапазоном – от импрессионистов до «новых диких»; он осмотрел ее с должным вниманием, хотя и без особого интереса. Пока не увидел картину Рене Дальмана.

Картина называлась «На берегу», она изображала обломок скалы, песчаный берег и море, на камне делала стойку на руках девочка, обнаженная и красивая, одна ее нога была деревянной, не из дерева, а обычная стройная ножка, только с древесным узором. Нет, в этой стоящей на руках девочке он не узнал девочку с ящеркой, не мог он и сказать с уверенностью, что здесь изображались тот же обломок скалы, тот же берег, то же море. Однако все слишком напоминало полотно, висевшее дома, поэтому на выходе он купил почтовую открытку с картиной, а будь у него больше денег, купил бы и альбом о творчестве Рене Дальмана. Сравнив дома картину с открыткой, он обнаружил существенные различия. Однако было и что-то, что их объединяло, – только оставалось непонятным, чем это объяснялось, сходством изображения или восприятием.

– Что там у тебя? – Войдя в комнату, отец потянулся к открытке.

Мальчик отшатнулся, отцовская рука ушла в пустоту.

– Кто написал картину?

Взгляд отца сделался настороженным. Он был пьян, и в глазах его появилась та же настороженность, с какой он реагировал на открытую неприязнь и презрение, которые демонстрировали пьяному жена и сын. Бояться его они давно уже перестали.

– Не знаю, а в чем дело?

– Почему мы не продаем картину, если она такая ценная?

– Не продаем? Мы не можем ее продать! – Отец встал перед картиной, словно защищая ее от сына.

– Почему не можем?

– Тогда у нас ничего больше не будет. И тебе ничего не достанется после меня. Мы для тебя ее бережем, для тебя. – Обрадовавшись аргументу, который должен был убедить сына, отец повторял его снова и снова: – Мы с матерью пластаемся, чтобы сохранить картину, которая потом тебе достанется. А что я вижу от тебя взамен? Неблагодарность, одну неблагодарность.

Отец всхлипнул, мальчик ушел и вскоре забыл этот эпизод, картину из музея и Рене Дальмана. Он работал на складе тракторного завода, к тому же подрабатывал еще и официантом, это продолжалось, пока не начались университетские занятия, а университет он нарочно выбрал как можно дальше от дома. Город на Балтийском побережье был непригляден, университет считался средним, зато здесь ничто не напоминало о родном южном городе, и уже в первые недели учебы он с удовлетворением отметил, что ни на лекциях юридического факультета, ни в университетских коридорах, ни в студенческой столовой не встречает знакомых лиц. Можно было все начать заново.

Сюда он ехал с пересадкой. Выдалось несколько часов, чтобы прогуляться по городу на берегу реки. Опять-таки случайно он оказался возле музея. Но здесь он уже не стал полагаться на случай, а сразу же спросил, где висят картины Рене Дальмана, и нашел два полотна. Одна картина, полтора метра на два, называлась «Послевоенный порядок»; она изображала женщину, которая сидела со склоненной головой, подобрав под себя ноги и опираясь на левую руку. Правой рукой она задвигала ящик в собственный пах, в животе и груди тоже были ящики, ручки которых имели вид сосков или пупка. Ящики на груди и животе были наполовину выдвинуты и пусты, а в ящике, который торчал из паха, лежал наискось искалеченный мертвый сол-

дат. Другая картина называлась «Автопортрет в образе женщины»; это был поясной портрет смеющегося молодого человека с лысым черепом, под наглухо застегнутой черной курткой проступали груди, левой рукой он держал парик с русыми волосами.

На этот раз он купил монографию о Рене Дальмане и прочитал в поезде о детских и юношеских годах художника, родившегося в Страсбурге в 1884 году. Его родителями были переехавший из Лейпцига продавец текстильных товаров и уроженка Эльзаса, которая была моложе мужа на двадцать лет; они хотели девочку, поскольку уже имели двоих сыновей, а третий ребенок, девочка, умерла два года назад от воспаления легких, которое подхватила на зимней прогулке, куда ее взял отец. Рене рос как бы в тени своей умершей сестры, пока в 1902 году не родилась желанная вторая дочь, что принесло ему одновременно и освобождение, и обиду. Он рано занялся рисунком и живописью, успехами в школе не отличался, в шестнадцать лет хорошо сдал экзамены в Академию художеств города Карлсруэ.

Совершив переезд в университет, он снял квартирку – мансарду с угольной печкой и небольшим оконцем, туалет и умывальник находились пролетом ниже в коридоре. Зато здесь он был предоставлен самому себе. Он разложил вещи, монографию о Рене Дальмане поставил на нижнюю полку вместе с привезенными любимыми книгами. Верхняя полка предназначалась для новых книг, для новой жизни. Он не оставил дома ничего, что было ему дорого.

7

Когда он учился на третьем курсе, умер отец. Однажды, как это теперь часто бывало, отец пошел в пивную, там напился, по дороге домой споткнулся, упал под откос, не смог подняться и замерз. За все эти годы после отъезда он впервые вернулся домой – на похороны. Стоял январь, холодный ветер обжигал, лужи на дорожке от кладбищенской часовни до могилы заledenели, мать поскользнулась, едва не упала, поэтому сын взял ее под руку, на что раньше она не соглашалась. Она не могла простить ему столь долгого отсутствия.

Дома она предложила нескольким соседям, которые ходили на кладбище, бутерброды и чай. Заметив, что гости ожидают спиртного, встала:

– Кому не нравится, что я не подаю пиво или шнапс, может уходить. В этой квартире и без того было выпито слишком много.

Вечером мать с сыном сидели в отцовском кабинете.

– Все книги в библиотеке, наверное, юридические. Хочешь их забрать? Может, пригодятся? Все, что не возьмешь, я выкину.

Она оставила его одного. Он осмотрел библиотеку, которой отец всегда так дорожил. Книги, которые давно уже были переизданы. Журналы, подписка на которые была прекращена несколько лет назад. Единственная картина – девочка с ящеркой; в прежнем кабинете ей была выделена целая большая стена, а здесь она висела между стеллажами, но все равно явно доминировала в интерьере. Теперь он почти задевал головой за низкий потолок и глядел на девочку сверху вниз, вспоминая, как когда-то смотрелся с нею глаза в глаза. Он вспомнил рождественские елки, которые раньше выглядели такими высокими, а теперь казались маленькими. Но потом ему подумалось, что картина не стала меньше и не утратила своей притягательной, завораживающей силы. Он вспомнил девочку из дома, в мансарде которого жил, вспомнил и покраснел. Он называл ее «принцессой», они флиртовали друг с другом, она напрашивалась заглянуть к нему в мансарду, и для отказа ему приходилось собирать всю волю. Напрашивалась она вполне невинно. Но поскольку ей хотелось получить то, чего ей не позволяли, она пускала в ход все свое кокетство, отчего жесты, взгляды, голос делались столь искусительными, что он едва не забывал о ее невинности.

– Книги мне не нужны. Но завтра я позвоню букинисту. Несколько сотен марок он тебе заплатит, а может, и тысячу.

В кухне он подсел к матери за стол.

– Что ты собираешься сделать с картиной?

Она сложила газету, которую перед тем читала. Ее движения все еще были нервными, немного суетливыми, что-то казалось в них еще молодым. Раньше она была стройной, теперь исхудала, кожа натянулась на скулах, на суставах рук. Волосы совсем побелели.

Он почувствовал внезапный прилив жалости и нежности.

– Что ты сама-то собираешься делать? – Вопрос прозвучал ласково, он хотел положить ладонь на ее руку, но мать отстранилась.

– Я перееду отсюда. На холме построено террасой несколько домов, я купила там однокомнатную квартиру. Больше одной комнаты мне не нужно.

– Купила?

В глазах ее промелькнула враждебность.

– Я объединила на одном банковском счете отцовскую пенсию и свои заработки. Сколько он брал на выпивку, столько же снимала со счета и я. Разве несправедливо?

– Нет. – Он усмехнулся. – Значит, отец пропил за десять лет целую квартиру?

Мать тоже усмехнулась:

– Не совсем. Но больше, чем сумма основного взноса на накопительный счет, с которого я расплатилась за квартиру.

Он помедлил.

– Почему ты не бросила отца?

– Что за вопрос. – Она покачала головой. – Есть пора, когда можно выбирать. Можно делать то или это, жить с тем человеком или с этим. Потом этот человек и его дела становятся частью твоей собственной жизни, а вопрос о том, почему ты продолжаешь жить собственной жизнью, довольно глуп. Ты про картину спросил. Ничего я не собираюсь с ней делать. Можешь забрать с собой или поместить в банке, если у них есть такие большие кассеты для хранения.

– А ты мне не расскажешь, в чем дело с этой картиной?

– Ах, мой мальчик... – Она печально взглянула на него. – Мне не хочется говорить об этом. По-моему, отец гордился ею, до самых последних дней. – Она устало улыбнулась. – Ему так хотелось навестить тебя, посмотреть, как идут твои дела на юридическом факультете, но ты нас ни разу не пригласил, а сам он не решался. Знаешь, дети иногда бывают не менее жестокими, чем мы, родители. Так же уверены в своей правоте.

Он собрался возразить, но подумал, что, возможно, она права.

– Мне очень жаль, – сказал он неопределенно.

Она встала.

– Спокойной ночи, мой мальчик. Завтра в семь утра я переезжаю. Когда выспишься и будешь собираться, не забудь картину.

8

Он повесил картину в мансарде над своей кроватью. Кровать стояла слева у стены, справа находились шкаф и книжные полки, под чердачным окном располагался письменный стол.

– Я на нее похожа. Кто это? – Девушка, задавшая вопрос, была студенткой, которая нравилась ему с первого семестра. Неужели действительно из-за сходства с девочкой? Ему никогда это не приходило в голову.

– Не знаю, кто она. Существовала ли она вообще. – Он хотел было сказать: «Во всяком случае, ты красивее». Но ему не захотелось предавать девочку с ящеркой. Хотя можно ли предать нарисованную девочку?

– О чем ты думаешь?

– О том, какая ты красивая.

Она и впрямь была очень красивой. Он лежал на кровати на спине, она прильнула к нему животом сверху. Положив руки ему на грудь и уткнув в них подбородок, она спокойно разглядывала его. А может, и не его? Может, она глядела куда-то сквозь него? Темные глаза и волосы, высокий лоб, румянец на щеках, изящный изгиб губ и крыльев носа – вся эта прелесть была обращена к нему и странным образом существовала сама по себе. Или все это ему лишь казалось? Не превращалась ли в картину женщина, которую он любил? Не превращалась ли она в картину, потому что он ее любил? Обращенную к нему и одновременно недостижимую.

– Как зовут художника?

– Не знаю.

– Он же наверняка подписал картину. – Выпрямившись, она внимательно рассмотрела нижний край полотна. Потом взглянула на него: – Это же оригинал.

– Да.

– Ты знаешь, сколько это стоит?

– Нет.

– Видимо, ценная вещь. Откуда она у тебя?

Ему вспомнился давний разговор с отцом.

– Иди сюда. – Он протянул руки. – Знать не хочу, сколько она стоит. Если бы знал и сказал тебе, а ты бы тоже знала, мне пришлось бы задаваться вопросом, не любишь ли ты меня из-за моей картины.

Она юркнула в его объятия.

– Не глупи. Если картина действительно ценная, ее нельзя держать дома. Летом тут жарко, а зимой холодно, да еще вдруг дурацкая печка твой чердак и весь дом подожжет. Сам-то ты убежать успеешь, а картина сгорит. Ценной картине нужна постоянная умеренная температура и влажность, а может, и еще что-то. А если ее нельзя держать здесь, то лучше сразу продать. Ты столько работаешь, а позволить себе ничего не можешь, денег не хватает. Глупо.

Чтобы отвлечь ее, он принялся рассказывать о своей новой работе. Но перед уходом она все-таки сказала:

– Знаешь что?

– Что?

– Брат у меня изучает историю искусств. Пускай посмотрит твою картину.

Он не хотел, чтобы дело дошло до этого. Когда она пришла в следующий раз, сунул картину под кровать, а девушке соврал, что картину забрала мать. Оказалось, что девушка поговорила с братом, но тот не мог припомнить ни похожего художника, ни похожего мотива, вспомнился только журнал «Фиолетовая ящерица», который выпускался в Париже с 1924 по 1930 год на переходе от дадаизма к сюрреализму; вышло десять номеров. Потом она забыла о картине.

Когда девушка уходила, он вновь вешал картину над кроватью. Поначалу это напоминало игру; он с улыбкой снимал картину, с улыбкой вешал обратно, прощался с девочкой и шутливо здоровался. Позднее ему стала докучать необходимость снимать картину из-за своей посетительницы, а потом и сама посетительница. Когда они спали вместе или лежали рядом, он ждал, чтобы она поскорее ушла и можно было бы вернуть картину на место, вновь начать привычную жизнь.

В конце концов они расстались.

– Не знаю, что творится у тебя в голове и в сердце. – Она коснулась пальцем его головы и груди. – Может, здесь и есть для меня место, только слишком уж маленькое.

Страдал он сильнее, чем мог ожидать. Иногда злился, поскольку ему казалось, что без картины все могло выйти иначе. Но даже эта злость связывала его с картиной. Он разговаривал

с девочкой. Жаловался, что без нее все было бы лучше. Что во всем виновата она. Что теперь она могла бы глядеть на него поприветливей. Не гордится ли она избавлением от соперницы? Только особенно воображать не стоит.

Однажды вечером он вновь принялся читать монографию о Рене Дальмане. Закончив академию, молодой художник поселился в доме богатой вдовы, жительницы Карлсруэ, которая устроила ему мастерскую. В ханжеском столичном городе¹ это вызвало скандал. Впрочем, по замечанию биографа, пара наслаждалась им больше, чем своим непростым романом. Он попытался сделать карьеру в качестве портретиста, первые портреты были вполне традиционными, но поскольку ему приписывался скандальный образ жизни, он начал писать скандальные портреты – например, чиновный череп председателя земельного верховного суда в Карлсруэ, будто вырезанный из дерева, и портрет его сына, хваткого лейтенанта, на лице которого были запечатлены эполеты с канителью и сабля. Председатель затеял судебный процесс, Рене Дальману пришлось спасаться бегством в Бретань, где имелся дом, принадлежавший семье его матери, большинство родственников которой покинули Эльзас в 1871 году. Здесь, где когда-то он провел много каникул с родителями, братьями и сестрами, Рене Дальман оставался до начала мировой войны, на которую отправился добровольцем во французскую армию, служил санитаром. В эти годы он ограничивался набросками, на другое не хватало ни времени, ни средств. Наряду с ранеными, искалеченными, умирающими солдатами появляются религиозные мотивы: Адам и Ева как новобрачные, заблудившиеся в райских кущах полей сражений, калека Христос, исцеляющий покалеченного солдата. По окончании войны Рене Дальман живет в Париже, проводит много времени в кафе «Серта», хотя и не причисляет себя к дадаистам, водит знакомство с Андре Бретоном, вслед за которым вступает в коммунистическую партию, однако не присоединяется к сюрреалистам. Он предпочитает держаться в стороне, пока вместе с несколькими друзьями не основывает журнал «Фиолетовая ящерица». Рене Магритт написал туда эссе о живописи как мышлении, Сальвадор Дали – о девушке, которую готов полоснуть бритвой по глазам; журнал опубликовал в переводе с английского без разрешения автора небольшую статью Макса Бекмана о коллективизме, написанную им во время свадебного путешествия. Рене Дальман занимался графическим оформлением журнала и сам писал для него, например об освобождении фантазии от произвола.

Все это было не особенно интересно. Вскоре он вообще перестал читать, просто листал страницы. В конце книги приводились хронология основных биографических событий, библиография публикаций Рене Дальмана и работ о нем, а также каталог его выставок. На 1933 год приходилась выставка сюрреалистов в парижской галерее Пьера Колля; в выставочном каталоге воспроизведена картина Рене Дальмана «Ящерица и девочка». Ящерица и девочка.

На следующее утро он отправился в университетский Институт истории искусств, где тщетно пытался разыскать каталог выставки 1933 года. Он пропустил лекции, отпросился, сославшись на грипп, в ресторане, где днем подрабатывал официантом, и поехал в тот город, где когда-то увидел послевоенную картину Рене Дальмана и его автопортрет, а также купил книгу о нем. Здесь также имелся университет с Институтом истории искусств, однако и в его библиотеке каталога не нашлось. Он почувствовал нервное возбуждение. Библиотекарша заметила это, поинтересовалась причиной. Он объяснил, что разыскивает картину Рене Дальмана «Ящерица и девочка», а точнее, не может найти каталог выставки, где воспроизведена эта картина. Спросил, в каком из ближайших городов еще есть Институт истории искусств.

– Почему вам нужна репродукция именно из каталога?

Он недоуменно взглянул на библиотекаршу.

– Возможно, художник сам фотографировал собственную картину, это мог сделать его галерист, какой-либо журнал или, наконец, музей, где она хранится.

¹ Карлсруэ был столицей великого герцогства Баден. – *Здесь и далее примеч. перев.*

– Хранится в музее? В каком?

– У нас есть изоархив. Пойдемте.

Он прошел за ней по коридору в помещение с проектором и рядами коробочек, на которых имелись таблички с фамилиями художников. Почувствовал, что успокаивается. Даже отметил изящную фигурку библиотечарши, ее легкую походку, внимательный взгляд, чуть насмешливый из-за его возбуждения. Она достала с полки коробочку, просмотрела опись на внутренней стороне крышки, вынула диапозитив размером с почтовую открытку, упакованную в черную фольгу, вставила диапозитив в проектор.

– Можете выключить свет?

Найдя выключатель, он погасил свет. Заработал проектор.

– Боже мой! – вырвалось у него.

Это была его картина. Девочка, берег, каменная глыба. Только слева в картине была не девочка, а огромная ящерица, зато на камне нежилась не ящерица, а крошечная девочка с прелестными темными локонами, бледным личиком, в светлом лифе и темной юбке. Она лежала на боку, головка на ладони, игривое полудитя, кокетливая полуженщина.

10

– В каком музее хранится картина?

– Надо посмотреть в библиотеке.

Выключив проектор и убрав диапозитив, она вернулась в зал с книжными стеллажами. Он глядел, как она берет с полки книгу за книгой, перелистывает страницы.

– Надеюсь, меня пригласят за это хотя бы в ресторан? – Она перевернула еще несколько страниц. – О!

– Что там?

– Картина не хранится ни в одном из музеев. Пропала. Утеряна и, возможно, уничтожена. В последний раз выставлялась в тридцать седьмом году на мюнхенской выставке «Дегенеративное искусство»².

Он недоуменно взглянул на нее.

– Экспонировалась в пятом разделе. В сопроводительном тексте говорилось: «Порнография не нуждается в наготы, а дегенеративное искусство не нуждается в искажении изображения. Еврей может искусно изобразить немецкого предпринимателя капиталистическим распутником, а немецкую девушку – его сластолюбивой потаскухой. Порнография, марксизм и классовая ненависть сливаются у евреев воедино. Если представить себе, что немцам и немкам, осматривающим эту выставку, приходится...» Читать дальше?

– А у Рене Дальмана есть картина «Девочка с ящеркой»?

Она вновь принялась перелистывать страницы.

– Как насчет ресторана?

– Когда вы здесь заканчиваете?

– В четыре.

– В это время рестораны еще закрыты.

– Тогда не будет вам девочки с ящеркой. Вы уверены, что картина называется именно так?

– Не уверен. – (Так называли картину отец с матерью, а потом и он сам. Возможно, Рене Дальман назвал ее как-то иначе.) – Во всяком случае, изображена на ней девочка с ящеркой, но не так, как мы только что видели, а, можно сказать, наоборот.

² Выставка произведений авангардного искусства, которое преподносилось нацистской пропагандой как антигерманское, еврейско-большевистское, опасное для нации и всей арийской расы.

– Любопытно. Где же вы ее видели?

– Не помню уже.

Потеряв осторожность, он едва не сболтнул лишнего. Спросил больше, чем мог себе позволить. По счастью, он не представился. Можно исчезнуть, не оставив следа.

Пока он размышлял, она присмотрелась к нему.

– Что с вами?

– Мне пора. Буду ждать вас в четыре у выхода, ладно?

Он выбежал из института, ничуть не смущаясь тем, что выглядело это по-дурачки. Лишь очутившись на скамейке у озера в центре города, он принялся размышлять и понял, как мало ему, собственно, было известно и сколько еще предстоит узнать. Поэтому к четырем часам он появился у Института истории искусств. Она спустилась к нему по ступеням, вновь дружелюбно и чуть насмешливо поглядывая.

– Ящерицы – существа робкие.

– Пожалуй, стоит кое-что объяснить. Может, посидим на солнышке у озера?

Он начал рассказывать о себе по пути к озеру. Учится на юридическом, подрабатывает ассистентом у адвоката, который занимается делами о наследстве – спорами между наследниками, розыском наследников и оценкой наследства. Дома у одного покойного американца обнаружилась картина – экспертизы нет, авторская подпись отсутствует; возможно, картина не представляет собою никакой ценности, а может, наоборот; во всяком случае, ему поручено все выяснить.

– У американца?

Он подстелил куртку, они сели на траву у озера.

– Это немец, эмигрировавший в Америку, поэтому наследников мы разыскиваем в Германии.

– А у вас нет репродукции?

– При себе нет. Но я помню картину наизусть. – Он описал ее.

– М-да. – Она искоса взглянула на него. – А ведь вы прямо-таки влюблены в эту картину.

Он покраснел, отвернулся, делая вид, будто следит за яхтой.

– Да ладно уж. Если это и впрямь Дальман, то здорово. Видели его работы в нашем музее? – Она перевела разговор на музей, на город, на то, как тут живет, откуда оба родом, где хотели бы побывать.

Он попытался разузнать, как устанавливается автор картины, ее судьба, подлинные владельцы. Она отвечала на эти вопросы, но старалась вновь сменить тему. Когда солнце зашло за крыши домов и похолодало, они прошли вдоль озера.

– У вас есть кто-нибудь? – Ему казалось, что ответ может быть только утвердительным. При ее живости, уме, остроумии, притом что она была не просто симпатичной, но имела милую манеру смахивать белокурые локоны, морщить нос.

– Расстались три месяца назад. А у вас?

Он прикинул: четыре месяца назад.

Пужинали они в гостиничном ресторане. Он чувствовал, что готов влюбиться, готов все рассказать, довериться ей. Но приходилось оставаться начеку, избегать некоторых тем. Например, разговора о родителях, о женщинах, которые ушли от него, о женщинах, которые ему нравятся, о том, как он живет. Он не мог раскрыться так, как ему хотелось бы. Ему пришло в голову, что если бы они встретились в его городе и решили пойти к нему домой, то этого нельзя было бы сделать. Там висела картина.

Она проводила его на вокзал. На перроне она написала ему свою фамилию, адрес и номер телефона. Помедлив, он написал в ответ свою настоящую фамилию и настоящий адрес.

– Ты детektivом стать не собираешься, а? – В глазах ее опять мелькнула добродушная насмешливость.

– А что?

– Да так. – Она обняла его за шею, быстро поцеловала в губы. – Сужу по твоим вопросам – куда лучше обращаться насчет картины, «Сотби» или «Кристи». Если уж прочитана о художнике книга, то следовало бы, мой маленький детектив, посмотреть, кто автор, и написать ему через издательство. При условии, конечно, что не нужно скрывать что-нибудь такое, чего никто не должен узнать.

– Поезд сейчас отойдет.

По громкоговорителю действительно объявили отправление. Он уже стоял в поезде.

– Скрытничать трудно.

Он успел лишь кивнуть. Двери закрылись.

11

– Тебя ждет трудная судьба, – сказал он девочке с ящеркой. – Она будет становиться все больше, ты все меньше, а в конце концов тебе придется строить ей глазки. Ты, девочка, будешь заигрывать с ящерицей! – Помолчав, он продолжил: – Может, ты поцеловала ее, чтобы она превратилась в принца, а вместо этого она так выросла, а ты сделалась такой маленькой? – Он взглянул на девочку, и то, что сотворил с ней Рене Дальман, показалось ему подлостью, едва ли не кощунством. – Может, ты была его сестрой? Он ненавидел тебя? Или любил и ненавидел одновременно?

Он вышел из комнаты в туалет с крошечным умывальником, над которым висела узкая полочка для зубной щетки, бритвенных принадлежностей, расчески и щеточки. Снял лезвие с бритвы, вернулся в комнату.

– Наверно, тебе это не понравится. Но иначе нельзя.

Он взрезал бумагу, которой была заклеена обратная сторона рамы. Оказалось, что к толстой позолоченной раме был привинчен подрамник, к которому и крепилось полотно. Мелкие винтики удалось открутить отверткой, которой он обычно подтягивал ослабившиеся контакты. Он опасался, что полотно не отстанет от позолоченной рамы, однако та снялась без особых усилий.

Он прислонил картину к стене возле кровати, сам сел на пол напротив. В правом нижнем углу виднелась подпись «Дальман». По-детски старательный почерк, немного наискосок «Д» с завитушкой. Открытие не слишком удивило его. Скорее, было бы удивительным, если бы подпись не обнаружилась или обнаружилась бы другая фамилия. Поразило его то, что всего несколько сантиметров открывшегося полотна, ранее заслоненные рамой, меняли впечатление от картины. Над головой девочки увеличился небесный просвет, острие локотка теперь не было съедено рамой, и ящерица проявилась во всю свою величину – неожиданно картина словно распахнулась, в ней стало просторней, как вдруг проясняется в груди и в голове, когда у моря чувствуешь дыхание ветра и вдыхаешь запах прибоя.

– Это тебя мой отец туда запер? А может, прежний или все еще нынешний владелец? И кто он или кто был он такой?

Изучив раму, он обнаружил штамп частного галериста из Страсбурга.

В поезде по дороге в родной город он дочитал биографию Рене Дальмана до конца. В 1930 году он последовал из Парижа в Берлин за Лидией Дьяконовой. Она была дочерью врача-еврея, который крестился в православную веру, выступала в кабаре, была существом загадочным, отличалась гибкостью и красотой. Она была ящерицей Дальмана, его ящеркой. Его письма к ней полнились неиссякаемой нежностью. Поскольку немецким он владел без акцента и имел немецкую фамилию, то сразу же был признан и оценен в качестве немецкого худож-

ника; Людвиг Юсти³ отвел ему во «Дворце кронпринца» один из небольших залов. В 1933 году, когда серия работ Дальмана «Уличная пляска смерти» попала на выставку «Государственное искусство 1918–1933»⁴, устроенную в Карлсруэ, он еще мог позволить себе публичные издевки над ее устроителями. Немецкое государственное искусство? Эта серия создавалась в 1928 году в Париже. Но потом Эберхард Ханфштенгель⁵ закрыл зал Дальмана, а однажды вечером штурмовики разгромили кабаре, в котором выступала Лидия. В 1937 году, еще до открытия мюнхенской выставки «Дегенеративное искусство», поженившиеся тем временем Рене и Лидия Дальман покинули Германию и переехали в Страсбург. Несмотря на французское гражданство, его продолжали считать немецким художником. В 1938 году его экспонировали на лондонской выставке «Немецкое искусство XX века». В Амстердаме и Париже выставлялись его полотна, конфискованные немецкими властями и отданные на аукционную продажу, а позднее выкупленные галеристами и коллекционерами, которые поддерживали художника или симпатизировали ему.

После того как немцы заняли Страсбург, следы Рене и Лидии Дальман теряются. Остались ли они в Страсбурге, бежали ли в неоккупированные районы Франции или сумели эмигрировать через Португалию в США – биограф добросовестно привел все аргументы «за» и «против» каждой версии, однако ясного ответа дать не смог. Судя по всему, они в любом случае сменили фамилию и имена. В 1946 году в Нью-Йорке состоялась выставка Рона Валломе, полотна которого предвосхищали по своей живописной манере «новых диких», но характеризовались дадаистско-сюрреалистической тематикой. Не скрывался ли под именем Рона Валломе, как предполагали некоторые искусствоведы, Рене Дальман? Но и о Роне Валломе достоверных сведений не осталось.

Ключей от новой материнской квартиры у него не было. Присев на ступеньку у подъезда, он принялся разглядывать булыжную дорогу, которая вела к домам и гаражам, расположенным террасами на склоне холма, обсаженного вечнозеленым кустарником, розы у подъезда, которыми мать пыталась скрасить стерильную атмосферу типовой застройки. Он размышлял об отце. Ему пришло в голову, что в сущности ничего не знает о нем, о его родителях, погибших во время бомбежки, о его учебе, о том, чем он занимался до и во время войны, и о его послевоенной карьере.

12

– Что делал отец во время войны?

Он сидел с матерью на веранде. Она вернулась с работы, приготовила чай. Взгляд ее скользил поверх крыш.

Она вздохнула:

– Ну вот, начинается.

– Ничего не начинается. Отец умер, я не собираюсь ни обвинять, ни осуждать его. Просто хочу выяснить, как попала к нему картина Рене Дальмана, цены которой я точно не знаю, но полагаю, что тысяч сто она стоит. И почему он окутал ее такой тайной?

– Потому что боялся, что его права на картину будут оспорены. Он заседал в военном трибунале Страсбурга; оказалось, что люди, у которых он квартировал, были евреями, они

³ Юсти Людвиг (1876–1953) – директор Берлинской национальной галереи, где по его инициативе был создан отдел современного искусства; в 1933 г. уволен нацистами с поста директора.

⁴ Предшественница «Дегенеративного искусства». После прихода к власти национал-социалисты организовали ряд выставок, призванных «разоблачить» модернизм в живописи. Первой из них стала названная выставка в Карлсруэ. Ее название указывает на период Веймарской республики.

⁵ Ханфштенгель Эберхард (1876–1957) – искусствовед, директор крупных художественных музеев.

скрывались, жили по фальшивым документам, и он выручил их. В благодарность получил картину.

– Тогда в чем же у отца была проблема?

– После войны художник с женой исчезли, пошли слухи. Отец испугался, что, если картину увидят, могут возникнуть подозрения. Ведь он не имел доказательств, что получил ее в подарок.

Он взглянул на мать. Она сидела рядом, но смотрела в сторону.

– Мама?

– Да? – Лица она не повернула.

– Ты жила тогда в Страсбурге? Ты сама была свидетельницей или узнала все потом со слов отца?

– На что я была нужна ему в Страсбурге во время войны или он мне?

– Ты поверила его рассказам?

Она все еще не поворачивала к нему головы. Он видел ее профиль, не замечая ни малейшего признака смущения, раздражения или огорчения.

– Когда в сорок восьмом он вернулся из французского плена и мы снова увиделись, у меня было слишком много других забот, чтобы интересоваться его военными историями. Каких только историй не принесли люди с войны!

– Если ты ему поверила, почему тогда все время говорила про «евреечку»?

– А ты запомнил?

Он не ответил.

– Так почему?

– Я думала, что это дочка художника, а они были евреями.

– Это не объясняет издевательского тона. – Он качнул головой. – Нет, ты не поверила отцу. Не поверила в историю насчет спасения евреев. Или решила, что это не вся история и что у него что-то было с этой девочкой. Может, он ее шантажировал? Принуждал? Ты знаешь, что это жена художника?

Она промолчала.

– Почему отец лишился судейской должности? – Он взглянул на нее. Ее подбородок вздернулся, губы дрогнули, было видно, что она отказывается отвечать на подобные вопросы. – Неужели лучше, если я начну расспрашивать его тогдашнее начальство или сослуживцев? Наверняка кто-либо поймет, что мне как будущему юристу нужно знать, в чем было дело.

– Он работал в трибунале. Приходилось быть суровым. Жестоким. Думаешь, таких любят?

– Нет, но только из-за этого его не лишили бы судейской должности после войны.

– Его обвинили в том, чего он не совершал. Но само обвинение было столь ужасным, что он не захотел разбирательства. В том числе ради тебя и ради меня.

Он снова взглянул на нее.

– Якобы он вынес смертный приговор одному офицеру, который укрывал евреев от полиции. Раз уж тебе кажется, что ты должен все знать, – этот офицер был его другом, и отец якобы сам донес на него.

– Тот, кто выдвинул обвинение, имел, видимо, свидетелей или документы. Газеты этим сильно заинтересовались?

– Большие газеты, не местные. Здесь все быстро замяли.

Он мог разыскать старые газеты и журналиста, который выдвинул обвинения против отца, ознакомиться с материалами этого журналиста. Возможно, удалось бы установить адрес отца в Страсбурге и других жильцов его дома. Может, существовали списки евреев, которых увозили из Страсбурга в лагеря смерти? Остались ли родственники Рене Дальмана, с которыми стоило поговорить?

– А что говорил отец об этих обвинениях? – Вопрос едва прозвучал, а ему уже расхотелось слышать ответ.

– Говорил, что сам он вместе с тем офицером и другими офицерами помогал евреям и что офицером, которому вынесли смертный приговор, пришлось пожертвовать, чтобы не пострадали все остальные, в том числе и евреи. Это просто идиотское совпадение, что именно ему выпало вести процесс и выносить приговор.

Он засмеялся:

– Значит, отец все делал правильно? Просто другие его неправильно поняли?

13

Мать предложила ему переночевать на кушетке; ей самой, дескать, все равно часто приходится спать на полу из-за больной спины. Он отказался, не мог допустить мысли о том, чтобы лечь на кушетку, где обычно спала мать, чувствовать ее запах и вмятинки, которые сохранились от ее тела.

Проснувшись ночью, он настолько сильно ощутил присутствие матери, будто лежал рядом. Ощутил ее запах и дыхание. Разглядел в лунном свете платье, аккуратно повешенное на спинку стула и расправленное на сиденье. Порой, когда она, ворочаясь во сне, придвигалась к краю кушетки, свет падал на лицо, и он видел ее седые волосы, жесткие черты лица. Он знал, что раньше мать была красивой женщиной, видел фотографию, снятую отцом во время свадебного путешествия; на фотографии она шла ему навстречу по парковой аллее, в светлом платье, легкой походкой, с нежным, удивленным, счастливым лицом. Сам он не мог вспомнить, чтобы когда-либо видел ее такой счастливой и нежной по отношению к себе или к отцу. Была ли виновата в этом война? Или события, произошедшие в Страсбурге? Может, отец или кто-либо другой сделал что-то, чего она не сумела простить? Но почему она была такой холодной по отношению к нему самому? Потому что он был сыном своего отца?

Ему стало тоскливо. Он почувствовал жалость к матери, к отцу и к себе, особенно к самому себе. Присутствие матери, ее платье, дыхание, запах были ему неприятны, но в то же время он страдал оттого, что это было ему неприятно. Почему не осталось от детства воспоминаний о материнской ласке и нежности? Может, теперь он смог бы вспомнить ее прежней и продолжал бы любить в ее нынешнем облике?

Утром она вручила ему папку, заведенную отцом. Там были собраны газетные вырезки о его деле, наклеенные на белые листы с пометками наверху, которые указывали на источник; на правом поле стояли вопросительные или восклицательные знаки, выражавшие его возражения или согласие. Порою он отвергал написанное, иногда вносил правку, как это делают с корректурой рукописи. Так, например, перечеркнув неверное указание собственного возраста, он провел стрелку на поля, где написал правильный возраст. Точно так же были исправлены неверные данные о сроке его службы в трибунале Страсбурга, звания причастных к делу офицеров, ошибки в изложении событий с подачей и отклонением прошения о помиловании, дата казни того офицера, которому он вынес смертный приговор. Особенно большим количеством поправок пестрела длинная статья из одной известной газеты. Под ней лежало несколько листов, напечатанных на хорошо знакомой ему пишущей машинке и озаглавленных «Опровержение». «Не соответствует действительности утверждение, будто моя служба в военном трибунале Страсбурга началась 1 июля 1943 года. На самом деле...» И так далее, листок за листком. «Не соответствует действительности утверждение, будто я преднамеренно вошел в доверие к обвиняемому и злоупотребил этим доверием, чтобы выудить у него сведения относительно его стремления укрыть от ареста лиц еврейской национальности. На самом деле я по мере сил оказывал поддержку обвиняемому в указанном стремлении, предупредил его о грозящей опасности, пытался спасти как его, так и лиц еврейской национальности, даже тогда, когда

серьезная опасность возникла для меня самого и для исполнения служебного долга. Не соответствует действительности утверждение, будто я вынес смертный приговор, руководствуясь своекорыстными мотивами, и злонамеренно извратил закон, что обернулось против обвиняемого. На самом деле перед лицом имевшихся доказательных материалов, свидетельств и фактов я не мог принять иного решения, кроме вынесения смертного приговора. Не соответствует действительности утверждение, будто я незаконно обогащался за счет лиц еврейской национальности, в частности путем противоправного присвоения движимого имущества, якобы доверенного мне лицами еврейской национальности, которые совершили побег или планировали таковой. На самом деле я не имел ни полномочий распоряжаться еврейским имуществом, ни обязанностей представлять имущественные интересы лиц еврейской национальности, а следовательно, не мог злоупотребить данными полномочиями или нарушить соответствующие обязанности. Не соответствует действительности утверждение, будто я...»

Пока он читал, мать смотрела на него. Он спросил:

– Ты знакома с этим опровержением?

– Да.

– Газета опубликовала его? Отец отсылал его в редакцию?

– Нет. Адвокат возражал.

– А ты?

– Думаешь, отец стал бы меня спрашивать?

– Но как ты отнеслась к этому? Как ты отнеслась бы к опровержению, если бы оно было опубликовано?

– Как отнеслась? – Она пожала плечами. – Он хорошо обдумал каждую фразу. Его нельзя было бы подловить ни на одном слове.

– Он просто списывал параграфы уголовного кодекса. Он цитировал их, чтобы показать, что его нельзя осудить ни по одному из пунктов. Но читается это ужасно. Так, будто он готов во всем признаться, однако настаивает при этом на своей неподсудности. Это похоже на признание, что ты отравил человека, но настаиваешь при этом, что отравленное блюдо было приготовлено в строгом соответствии с классической поваренной книгой. Вот как это читается.

Она взяла папку, подровняла листы, закрыла ее.

– Он сделался осторожным. Во время войны много чего произошло, на всю жизнь хватит расхлебывать. Вот он и осторожничал после войны, в том числе из-за тебя, из-за меня. Даже пьяный он не терял бдительности. Ты же знаешь, что пьяные часто пробалтываются о таких вещах, о которых даже упоминать не должны. С отцом этого не случилось никогда.

Она словно гордилась этим. Гордилась, что ее муж хотя бы не бахвалился тем, что причинил ей и другим.

– Он когда-нибудь просил у тебя прощения за то, что причинил тебе?

– Прощения, у меня? – Она недоуменно взглянула на него.

Он сдался. Было ясно, что она ничего не скрывает, просто не знает, чего ему надо, не понимает, почему и на чем он настаивает. Она хотела, чтобы он оставил ее мужа в покое, как это сделала она сама. Рана в ее душе зарубцевалась, а вместе с тем ороговела нежная душевная ткань, способная на любовь и счастье. Вероятно, когда рана была еще свежа и болела, ее можно было исцелить. Но теперь поздно. Давно уже поздно. Она слишком долго жила с этими рубцами, ложью, осторожностью.

Внезапно его поразила одна мысль. Мать не только сейчас хотела от него покоя. Она всегда, сколько он ее помнил, хотела оставаться в покое и оставляла в покое его самого. Словно он был посторонним. Словно однажды он доставил ей слишком сильное, слишком глубокое беспокойство.

– Отец изнасиловал тебя, когда ты зачала меня? Это произошло, когда он жил в Страсбурге, творил подлые дела и у него что-то было с той еврейкой? Это произошло ночью, ты

знала обо всем, не хотела с ним спать, а ему было наплевать на то, что ты знаешь и чего ты хочешь, он изнасиловал тебя, да? Так я и родился? Ты не смогла мне этого простить?

Она качала головой, снова и снова. Тут он заметил, что она плачет. Сначала она застыла молча, только слезы катились по щекам, замирали на подбородке и капали на юбку. Но потом она подняла руки, чтобы утереть слезы, и всхлипнула.

Он встал, шагнул к ее стулу, попытался обнять. Она продолжала сидеть не шелохнувшись, не принимая его объятий. Он пробовал говорить, но она не воспринимала его слов. Молчала она и тогда, когда он попрощался.

14

Он вернулся назад, зажил прежней жизнью. Однажды библиотекаря написала, что у нее есть дела в его городе. Он встретил ее, после прогулки и обеда пригласил к себе. Картину он засунул под кровать.

Его мучило, однако, беспокойство. Что, если она случайно заглянет под кровать и увидит картину? Или вдруг провалится сетка с матрасом? Картина будет повреждена, а кроме того, опять-таки замечена. Что, если во сне он начнет разговаривать с девочкой на картине? Днем он часто делал это. «Девочка с ящеркой, – говорил он, – пора мне опять за учебу» – и рассказывал ей, чем ему предстоит заниматься. Или спрашивал ее, как ему сегодня одеться. Или бранил утром за то, что проспал, а она не разбудила. Или расспрашивал о том, как поступили с ней Рене Дальман и отец. «Тебя подарили отцу? Или отец обманом заполучил тебя у художника? Когда художник хотел бежать вместе с тобой? Почему именно с тобой?» И часто задавал один и тот же вопрос: «Что же мне делать с тобой, девочка с ящеркой?»

Может, следовало разыскать наследников Дальмана, чтобы передать им картину? Но он не признавал наследств. Или лучше выручить за картину деньги, чтобы жилось получше? Или сделать какое-либо доброе дело? Есть ли у него долг перед теми, кто пострадал по вине отца? Поскольку ему достались ценности, полученные благодаря отцовскому преступлению? Но что это, собственно, за ценность? То, что он может глядеть на девочку с ящеркой, разговаривать с ней? Подарок это или злой рок?

– Что стало с твоей картиной?

Они лежали в постели, глядя друг на друга.

– Ничего нового узнать не удалось. – Он изобразил на лице мину, которая означала некоторое огорчение, но по большей части безразличие. – Да я уже и не работаю у того адвоката.

– Значит, где-нибудь в Манхэттене стоит, возможно, пустая квартирka, хозяин которой умер, и висит там втайне ото всех картина одного из самых знаменитых художников нашего века? Хозяин был человеком бедным и старым, по столу ползают тараканы, ботинки грызет крыса, на кровати храпит домовый, который взломал дверь и поселился в квартире, а в один прекрасный день трах-тарарах, начнется пальба, у девочки появится дырка во лбу, а ящерица лишится своего хвоста. Может, старым хозяином был сам Рене Дальман? – Она оказалась довольно разговорчивой. Но он охотно слушал ее. – Ты готов взять на себя такую ответственность?

– За что?

– За неясность.

– Кто хочет ясности, пусть обратится в «Сотби» и «Кристи» или к тем, кто пишет книги о Рене Дальмане.

Она прижалась к нему.

– А ты кое-чему научился. Ведь научился?

Он не решался заснуть. Боялся, что начнет разговаривать во сне. Ему не хотелось, чтобы, проснувшись, она начала бы шарить в поисках шлепанцев под кроватью, перед тем как пойти

в туалет, под кроватью она могла наткнуться на картину... Но потом он все-таки заснул, а когда проснулся, было уже светло; вернувшись из туалета, она так бросилась на кровать, что он испугался. Но сетка с матрасом не провалилась.

– Мне нужно успеть на поезд в семь сорок четыре, чтобы быть к девяти в институте.

– Я тебя провожу.

Прежде чем закрыть дверь и запереть ее, он, обернувшись, осмотрел комнату. Комната ему не понравилась. Она выглядела чужой. Библиотекарша рылась в его книгах, у нее были месячные, и она испачкала простыни, во время прогулки по берегу моря она нашла ржавые почтовые весы для писем и притащила их с собой. А главное, над кроватью не было девочки с ящеркой. Уже провожая библиотекаршу на вокзал и прощаясь с ней, он был немного рассеян и беспокоен, а вернувшись домой, сразу принялся за уборку. Книги обратно на полку, свежее постельное белье, картину на место, весы на шкаф за чемодан. «Ну вот, девочка с ящеркой, теперь опять все в порядке».

Он встал посреди приведенной в порядок комнаты, огляделся. Порядок на книжной полке напомнил ему о порядке, который царил на книжных полках отца. Скучная опрятность, как ее поддерживала мать в борьбе против запустения семейного очага. Девочка с ящеркой уже не в позолоченном багете, а в скромной деревянной рамке, занимала такое же доминирующее положение, как и раньше в доме у родителей. И, как тогда, картина была сокровищем, тайной, окном в мир красоты и свободы и одновременно некой господствующей, контролирующей инстанцией, требующей приношения жертв. Он подумал о годах предстоящей жизни.

В этот день он уже ничего не делал. Прогулялся по улицам, мимо юридического факультета, мимо ресторанчика, где подрабатывал, мимо дома, где жила студентка, в которую когда-то он был влюблен. Впрочем, возможно, любить он так и не научился?

Вечером он зашел домой, завернул в стянутую с постели простыню картину в раме и пачку газет. Пошел со свертком на берег. Там горели костры, у которых сидела и веселилась молодежь. Он прошел дальше, оставив позади последние костры. Газеты и простыня быстро загорелись, сразу занялась и рамка. Он бросил в огонь картину. Краски стали плавиться, потекли, контуры девочки расплылись. Но прежде чем полотно сгорело, оно вспыхнуло у края, и открылась другая картина, скрытая под первым полотном, где была изображена девочка с ящеркой. Огромная ящерица и крохотная девушка – он лишь на миг увидел ту картину, которую Рене Дальман хотел спасти и взять при бегстве с собой. Затем полотно ярко разгорелось.

Когда пламя опало, он носком ботинка собрал горящие остатки в кучку. Не стал ждать, пока все прогорит до пепла. Еще немного посмотрел на тлеющие синевато-красные язычки. Потом пошел домой.

Другой мужчина

1

Жена умерла через несколько месяцев после его ухода на пенсию. У нее была раковая опухоль, не подлежавшая ни операции, ни лечению, поэтому он ухаживал за женой дома. Когда она умерла и заботиться об ее кормлении, туалете, иссохшем и измученном пролежнями теле уже не приходилось, осталось позаботиться о похоронах, затем о счетах, страховках и о том, чтобы дети получили причитающееся им по завещанию. Пришлось отдать ее одежду в чистку, белье в прачечную, привести в порядок обувь, все упаковать по коробкам. Ее лучшая подруга, содержавшая магазин «секонд-хенд», обещала жене, что ее элегантный гардероб достанется красивым женщинам.

Хотя все это были дела для него необычные, он так привык заниматься чем-то по дому, когда из комнаты, где лежала жена, не доносилось ни звука, что у него до сих пор сохранялось чувство, будто, стоит только подняться по лестнице, открыть дверь ее комнаты, и можно подсесть к ее постели, чтобы перекинуться словечком, сообщить что-нибудь или спросить. Лишь позднее он до конца осознал, что она умерла, что подействовало, как неожиданный удар. Что-то похожее нередко происходило потом, когда он разговаривал по телефону. Он стоял, прислонившись к стене возле телефонного аппарата на кухне или в столовой, все было нормально, обычный разговор, и чувствовал себя вполне нормально, однако вдруг сознавал, что она умерла, не мог продолжать разговор, вешал трубку.

Но однажды дела закончились. Появилось такое чувство, будто канаты обрублены, балласт сброшен и ветер понес его гондолу над землей. Он ни с кем не виделся, ни в ком не нуждался. Дочь и сын приглашали его пожить некоторое время в их семьях, однако, хотя он и считал, что любит своих детей и внуков, тем не менее сама мысль о том, чтобы жить вместе с ними, казалась ему нестерпимой. Была нестерпима мысль о любой нормальной жизни, отличавшейся от того, что являлось нормальным прежде.

Спалось ему плохо, он рано вставал, пил чай, немножко играл на пианино, решал шахматные задачи, читал, делал заметки к статье, посвященной одной проблеме, с которой он столкнулся в последние годы работы и которая с тех пор оставалась темой его размышлений, хотя всерьез не занимала. Под вечер начинал пить. Садился с бокалом шампанского за пианино или за шахматную доску, откупоривал к ужину, состоявшему из консервированного супа и пары ломтей хлеба, бутылку красного вина, которую в конце концов опустошал, продолжая делать заметки или читая книгу.

Он совершал прогулки по улицам, заходил в заснеженный лес, бродил по берегу реки, края которого иногда обледеневали. Порой это бывало даже ночью, тогда походка его оказывалась поначалу нетвердой, он пошатывался, задевал за ограды и стены домов, но затем голова прояснялась, а шаг делался уверенным. Он поехал бы к морю, чтобы часами бродить там по берегу. Но не решался оставить дом, эту оболочку собственной жизни.

2

Жена его была не слишком тщеславной. Во всяком случае, ему она слишком тщеславной не казалась. Красивой – да, он находил ее красивой и давал ей понять, что его радует ее красота. Она же давала ему понять, что радуется тому, что его это радует, – взглядом, жестом,

улыбкой. Эти взгляды, жесты и улыбки, ее манера глядеться в зеркало были очень милы. Но не тщеславны.

И все-таки умерла она из-за собственного тщеславия. Когда врач, обнаружив узелок на правой груди, посоветовал операцию, то из-за опасения, что дело кончится ампутацией, она перестала к нему обращаться. При этом она никогда не кичилась своим высоким, роскошным, крепким бюстом, но и не жаловалась, когда в последние месяцы перед смертью исхудала, а груди обвисли, вроде вывернутых карманов, демонстрирующих пустоту. Она всегда производила впечатление человека с очень естественным отношением к собственному телу со всеми его достоинствами и изъянами. Лишь после ее смерти, услышав случайное замечание врача о несостоявшейся операции, он спросил себя, не было ли то, что представлялось ему естественным отношением к собственному телу, на самом деле затянувшейся изнеженностью, которая в конце концов сменилась отчаянием.

Он упрекал себя за то, что в ту пору, когда понадобилась операция, ничего не заметил и не расположил ее к тому, чтобы ей захотелось поделиться с ним своими тревогами, страхами, попытаться найти совместное решение. Ему не припомнилось ничего определенного о той поре, на которую приходилось обнаружение узелка и рекомендация прооперироваться. Понадобились некоторые усилия, он перебирал в памяти эпизод за эпизодом, но не смог припомнить ничего особенного. Отношения оставались привычно доверительными, по работе он не был чрезмерно загружен, не слишком долго отсутствовал из-за командировок, да и ее профессиональные дела шли обычным чередом. Она была скрипачкой городского оркестра, вторая скрипка, первый пульта, а кроме того, давала уроки музыки. Вспомнилось, что тогда после нескольких лет разговоров о том, что хорошо бы снова помузицировать вместе, даже действительно стали играть сонату Корелли⁶ «La folia».

Благодаря воспоминаниям поутихли упреки в собственный адрес, зато вместо них появилась досада по поводу их взаимоотношений, которые прежде казались ему такими доверительными. Неужели он обманывался? Неужели на самом деле этой доверительности не было? Тогда в чем причина? Разве им плохо жилось вместе? Ведь спали они до тех пор, пока недуг не приобрел тяжелую форму, а разговаривали до самой ее кончины.

Но улеглась и досада. Правда, нередко томило его чувство пустоты, хотя он и сам не понимал, чего ему, собственно, недостает. Он никогда не решился бы проверить себя, однако порой задавался вопросом, не хватает ли ему действительно жены или просто теплого тела в постели, кого-то, с кем можно поговорить, кому было бы интересно его мнение, и, наоборот, кого слушал бы он сам, пусть даже без особого интереса. Спрашивал он себя и о том, адресована ли тоска, которую он иногда испытывал по работе, именно его прежней работе или же любому социальному окружению, где он мог бы хорошо сыграть отведенную роль. Он знал, что стал медлителен, медлителен в восприятии и обдумывании, медлителен в согласии и в отказе.

Иногда ему чудилось, будто он выпал из собственной жизни, падение еще продолжается, но вскоре дно будет достигнуто и тогда можно начать все заново, пусть совсем скромно, зато заново.

3

Однажды на имя жены пришло письмо от отправителя, который был ему незнаком. Почта до сих пор поступала к ней – проспекты, счета за журнальную подписку или членские взносы, пришло письмо от подруги, которую он упустил из виду, рассылая извещения о смерти, но про которую, получив письмо, сразу же вспомнил, извещение о смерти одного из прежних коллег жены, приглашение на вернисаж.

⁶ Корелли Арканджелло (1653–1713) – итальянский скрипач и композитор.

Письмо было кратким, написано авторучкой, беглым почерком.

Дорогая Лиза,

ты считаешь, что тогда я все слишком усложнил для тебя, знаю. Только я не согласен с тобой, до сих пор не согласен. И все-таки я виноват, хоть и не чувствовал тогда вины, но теперь чувствую. Ты тоже виновата. До чего безжалостно обошлись мы с нашей любовью! Мы погубили ее, ты своими страхами, а я своей требовательностью, вместо того чтобы позволить ей расти и цвести.

Существует грех нерожденной жизни, неисполненной любви. А ты знаешь, что грех, совершенный вместе, повинных в нем связывает навек?

Несколько лет назад я вновь видел тебя. Это было на гастролях оркестра в моем городе. Ты постарела. Я понял это по морщинкам, по усталости твоего тела, мне вспомнился твой голос, который делался пронзительным, когда ты испытывала страх или защищалась. Ничего не помогло; если бы выдался случай, я снова бросился бы с тобой в машину или в поезд, чтобы снова уехать и снова провести в постели с тобой несколько дней и ночей напролет.

Тебе этого не понять? Но с кем же мне поделиться моими чувствами, если не с тобой!

Рольф

На обратном адресе значился большой южный город. Прочитав письмо, он достал карту этого города, отыскал указанную в обратном адресе улицу, увидел, что она соседствует с парком. Он представил себе автора письма сидящим за столом перед окном с видом на парк. Сам он видел верхушки деревьев на улице перед домом. Верхушки были еще голыми.

Он никогда не слышал, чтобы голос жены делался пронзительным. Никогда не проводил с ней в постели дни и ночи напролет. Никогда не бросался с ней в машину или в поезд, чтобы уехать куда глаза глядят. Поначалу он просто удивился, затем почувствовал себя обманутым, обворованным; жена обманывала его, утаивая что-то, что по праву принадлежало или хотя бы причиталось ему, а другой мужчина по-воровски присвоил это себе. Его обожгла ревность.

Это была ревность не к тому, что делила его жена с другим и что было ему самому неизвестно. Откуда ему знать, была ли она с ним такой, как с Другим, или нет? Может, она была с Другим такой же, как с ним. На концерте они невольно брались с Лизой за руки, когда музыкальное произведение особенно нравилось обоим; утром, наводя макияж перед зеркалом, она могла на миг обернуться к нему, улыбнуться, чтобы потом опять сосредоточиться на своем отражении в зеркале; проснувшись, она сначала прижималась к нему и только потом отодвигалась, чтобы потянуться; порой, когда он рассказывал о каких-нибудь проблемах, возникших на работе, она слушала его вроде бы с отсутствующим видом, однако, спустя несколько часов или даже дней, обнаруживала неожиданной репликой свое внимание к его делам и участие – в таких ситуациях проявлялась доверительность их отношений, та близость, которая существовала между ними. Разумеется, он считал, что подобная близость носит исключительный характер. Но теперь это уже не разумелось само собой. Разве она не могла быть столь же близкой с Другим? Разве не могла браться с ним за руки на концерте, оборачиваться к нему с улыбкой, сидя перед зеркалом и наводя макияж, прижиматься к нему, проснувшись утром в постели, перед тем как хорошенько потянуться?

4

Наступила весна, по утрам его будил птичий щебет. Каждое утро одно и то же. Он просыпался счастливым, потому что слышал пение птиц, видел проникающие в комнату лучи солнца, и на какой-то миг казалось, будто в мире все в порядке. Но затем в сознании опять всплывали – смерть жены, письмо от Другого, их адюльтер и то, что жена была с тем другим совсем не

такой, какой он ее знал, но в то же время именно такой. Адюльтер – так он решил называть про себя то, о чем узнал из письма; собственные сомнения относительно двойного повода для ревности превратились в уверенность. Иногда он задавался вопросом, что хуже – когда тот, кого любишь, становится другим с другим или же когда он остается с ним таким же, каким ты его знаешь сам? А может, это плохо одинаково? Ведь в любом случае тебя обкрадывают – похищают то, что тебе принадлежит или должно принадлежать.

Это было похоже на болезнь. Проснувшегося больному тоже необходимо какое-то время, чтобы вновь осознать, что он болен. И подобно тому как проходит болезнь, так же проходят тоска и ревность. Зная это, он ждал, что пойдет на поправку.

Весной прогулки стали продолжительнее. У них появилась цель. Он не отправлялся уже просто куда глаза глядят, а шагал через поля к шлюзам или по лесу к замку над рекой или же шел между цветущими фруктовыми деревьями, растущими на горных склонах, в соседний городок, где проводил какое-то время, а потом возвращался домой на поезде. Все чаще, достав под вечер привычную бутылку шампанского, он ставил ее обратно. Все чаще ловил себя на том, что размышляет о чем-то ином, нежели жена, ее смерть, другой мужчина и адюльтер.

Как-то в субботу он пошел в город. В последние месяцы для этого не находилось повода. Поблизости от дома имелись булочная и продуктовая лавка, а в остальном он не нуждался. Подойдя к центру с его интенсивным уличным движением, людской толчеей, чередой магазинов, гомоном голосов, шумом транспорта, мелодиями уличных музыкантов и выкриками лоточников, он почувствовал страх. Его стесняла эта толпа, ее деловитая суeta и многоголосие. Он заглянул в книжный магазин, но и тот был полон, люди толпились у книжных полок и касс. На минуту он задержался у дверей, не решаясь ни войти, ни выйти, загораживая проход, его толкали, раздраженно извинялись. Ему хотелось домой, но не было сил вернуться на улицу, пойти пешком, сесть в трамвай или взять такси. Раньше казалось, что сил у него побольше. Когда выздоравливающий, переоценив свои возможности, делает что-то лишнее, то это грозит рецидивом; вот и ему придется теперь начать выздоровление заново.

Когда наконец он добрался до трамвая, то молодая женщина уступила ему в вагоне место. «Вам плохо? Уже в книжном магазине у вас был такой вид, что это вызывало беспокойство». Он не помнил, чтобы видел ее там. Поблагодарив, сел. Страх не отпускал. Придется начать выздоровление заново – значит ли это, что сейчас у него кризис? Пусть так, но пугало чувство, что кризис может усугубиться.

Днем он лег в постель, хотя было совсем рано. Сразу заснул, проспал несколько часов. Когда проснулся, было еще светло, страх исчез.

Подсев к письменному столу, он взял лист бумаги и написал без обращения, без даты.

Ваше письмо дошло. Но оно не сумело попасть к адресату. Лиза, которую Вы знали и любили, умерла.

Т.

ТТ – так довольно долго называли его жена и друзья, со временем осталось только Т. Просмотренные служебные бумаги он помечал инициалом Т. Затем привык подписывать так же свою личную переписку, тем более что дети прежде называли его папой, но благодаря особенностям диалекта это звучало как «тата». Ему нравилось, что Т способно исполнять столько ролей.

Он положил листок в конверт, надписал адрес, наклеил марку и бросил в уличный почтовый ящик в нескольких кварталах от дома.

5

Спустя три дня пришел ответ.

Темновласка! Ты больше не хочешь быть прежней Лизой, которую я любил? Ей суждено для меня умереть?

Я хорошо понимаю твоё желание, чтобы прошлое умерло, особенно если оно такой болью откликается в настоящем. Но оно может откликаться в настоящем только потому, что продолжает жить. Наше общее прошлое остается живым для тебя, как и для меня, – и это прекрасно! Прекрасно, что ты, никогда не отвечавшая на мои письма, ответила мне. И что ты осталась моей Темновлаской, хотя и обозначила это одной-единственной буквой.

Твое письмо сделало меня счастливым.

Рольф

Темновласка? Да, у нее были темные, карие глаза и каштановые волосы, темные волоски на руках и ногах, которые выцветали летом, когда она покрывалась загаром, а еще у нее было множество темных родинок. Моя каштановая красавица, говорил он порой с восхищением. Темновласка – это было нечто иное. Краткое, властное, хозяйское. Так можно было бы назвать каурюю кобылу, которой поглаживают ноздри и которую треплют по крупу, прежде чем вскочить в седло и прищипорить.

Он подошел к секретеру жены, антикварной вещице в стиле «бидермайер». Он знал, что там существует секретное отделение. Разбирая после смерти жены ее вещи, он постеснялся заглядывать туда. Теперь же он выдвинул все ящики, опустошил все отделения, нашел стенку, за которой должен был находиться тайник, а через некоторое время обнаружил и планку, нажав которую и повернув стойку вокруг оси, увидел дверцу. Она была заперта, пришлось взломать замок.

Пачка писем, перевязанная алой ленточкой; по почтовому штемпелю стало ясно, что эти письма относились к той поре ее девичьей любви, о которой жена ему рассказывала. Альбом со стихами и фотографиями, закрывающийся сафьяновыми ремешками и замочком. Еще одна пачка писем, перевязанная зеленой ленточкой; здесь он узнал почерк ее родителей. А вот и почерк Другого. Большая канцелярская скрепка объединяла четыре письма. Он взял их с собой, поближе к окну, уселся в высокое кресло, рядом со швейным столиком; всю эту мебель, выдержанную в стиле «бидермайер», как и секретер, они приобрели с Лизой незадолго до свадьбы. Усевшись, он принялся за чтение.

Лиза,

все вышло иначе, нежели ты представляла себе вначале, гораздо сложнее. Знаю, что иногда это вселяет в тебя страх и тебе хочется спастись бегством. Но бежать не стоит. Да и нельзя. Ведь я остаюсь с тобой, даже когда меня нет рядом.

Может, ты сомневаешься в моей любви, поскольку я не могу облегчить твоего положения? Но это не в моих силах. Да, я тоже хотел бы, чтобы все было проще, чтобы мы могли жить вместе, друг для друга. Хотел бы только этого. Но мир устроен иначе. И все же этот мир чудесен, ведь благодаря ему мы сумели найти и полюбить друг друга.

Лиза, я не могу с тобой расстаться.

Рольф

Нет, Лиза, нет. Это уже было с нами год назад и полгода назад, и ты знаешь, что я не могу без тебя. Не могу. И ты не можешь без меня. Без моей любви, без страсти, которой я

заражаю тебя. Если ты бросишь меня, то я не просто паду в бездонную пропасть, я увлеку за собой и тебя. Не дай этому случиться. Останься моей, как я остаюсь твоим.

Твой Рольф

Ты не пришла. Я ждал тебя, тянулись часы, но ты не пришла. Она просто задерживается, пытался я внушить себе поначалу, но потом забеспокоился, стал названивать по телефону, пока не узнал от твоей домработницы, что ты не можешь подойти к телефону. От домработницы! Ты не просто не пришла. Ты отвергла меня через свою домработницу.

Я ужасно зол, прости. Я не имею права злиться на тебя. Все это слишком обременяло тебя, так не могло продолжаться, необходимо было что-то изменить, и ты не пришла лишь потому, что хотела дать мне понять это.

И я, кажется, понял.

Я все понял, Лиза. Давай забудем все, что стало бременем для нас. На следующей неделе ты выступаешь с оркестром в Киле – прихвати денек-другой, они будут принадлежать только нам. И дай знать о себе.

Рольф

О домработница, домработница! Она приходит теперь ежедневно? Во всяком случае, именно она снимает трубку, когда я звоню. Или же твой муж. Скоро он начнет задаваться вопросом о том, кто это звонит вечерами и молчит в трубку. Ах, Лиза. В этих моих бесполезных звонках есть что-то до гротеска смешное. Надо покончить с этим гротеском, а над забавным посмеяться вместе, посмеяться в постели, обнимаясь друг с другом, смеяться и обниматься снова...

Я буду здесь через неделю. Буду ждать тебя не только в наш обычный день и обычное время, но каждый день и каждую ночь, буду ждать тебя ежедневно.

Рольф

Ни одно из писем не имело даты. Дата на проштемпелеванном конверте была двенадцатилетней, на трех других конвертах – одиннадцатилетней давности с промежутком в несколько дней.

Что последовало за четвертым письмом? Поддалась ли Лиза на уговоры? Смирился ли Другой со своим поражением? Смирился и перестал слать письма?

6

Он хорошо помнил тот период, к которому относились письма. Одиннадцать лет назад состоялись выборы в бундестаг, и, хотя парламентское большинство и правительственная коалиция сохранились, в кабинете министров произошли перемены. Новый министр заменил его, беспартийного, на чиновника, бывшего членом партии. Пришлось уйти во временную отставку. Правда, через год он получил назначение в один из государственных фондов, причем работа там оказалась вполне интересной. Но той власти, которую он несколько лет имел в министерстве, власти, которая ему нравилась, у него уже не было.

Да, последние годы службы в министерстве выдались весьма напряженными, приходилось много разъезжать по командировкам, работать по выходным, причем не только в министерстве, но и дома. Вместе с тем ему тогда казалось, что с семьей у него все в порядке, контакты с женой и детьми, пусть и несколько редкие, вроде бы убеждали его в этом. Так ли обстояло дело в действительности? Теперь ему представлялось, что тогда он не просто обманывался, но уже догадывался о собственном самообмане. Ему вспомнились ситуации, когда Лиза реагировала на него с отсутствующим видом или даже отвергала его. «Что произошло?»

– спрашивал он. «Ничего особенного», – отвечала она. «Но я же вижу». – «Нет, все в порядке. Просто я немного устала». Или: «У меня месячные». Или: «Просто я задумалась об оркестре». Или: «Задумалась о своем ученике». Поэтому он прекращал расспросы.

А что было потом, после четвертого письма, когда он покинул министерство? К своему стыду, он отметил, что за год временной отставки у него сохранилось мало воспоминаний о жене и семье. Он переживал несправедливость, обиду, зализывал раны, ожидал, что весь мир, государство, министр, друзья, жена, дети попытаются восстановить справедливость. Он был слишком занят собой, чтобы обращать внимание на то, как обстоят дела у жены. Вспоминалось, как раздражала его тогда шумливость детей или друзей. Их веселье казалось ему пренебрежением к его потребности в покое, и ничем другим.

В воспоминаниях не обнаружилось никаких свидетельств, которые могли бы ответить на вопрос, продолжались ли отношения Лизы с Другим после четвертого письма. В тот трудный год Лиза старалась иногда быть к нему поближе, но он отталкивал ее, хотя и отталкивал, как ребенок, который делает это из желания, чтобы его любили еще сильнее. Сейчас это помнилось, но забылось, что еще происходило между ними в тот год. Вероятно, ее занимал оркестр и она маловато бывала дома, иначе он, постоянно сидя дома, это заметил бы. Впрочем, что он вообще замечал тогда!

Он написал письмо.

Твои теперешние письма похожи на прежние. Они преследуют меня. Ты преследуешь меня. Если это не прекратится, то есть если ты этого не прекратишь, то никогда больше не услышишь обо мне. Не повторяй ошибок.

Т.

Ему было не по себе. Но он считал, что это не так важно. Ему было бы не по себе, даже если бы он не написал подобного письма. Или сочинил другое. Ведь Лиза порвала с Другим. Если это так, было бы лучше оставить прошлое в покое. Если, конечно, увлечение было непродолжительным. И если оно было несильным.

7

Лиза, Темновласка моя,

будь справедлива. Ведь я пребывал тогда в отчаянии. Жизнь моя оказалась растроченной понапрасну, я боролся за нее, а тут еще ты выкинула меня из своей жизни, как выкидывают из дома на улицу бродячую собаку и закрывают перед ней окна и двери. Я не знал, что делать. Я не хотел преследовать тебя. Хотел лишь достучаться, увидаться с тобой, поговорить. Я не помню уже содержания моих писем. Могу себе представить, что в настойчивости, которая показалась тебе преследованием, отразилось мое отчаяние, мой страх потерять тебя. Когда мне удалось наконец дозвониться до тебя и мы встретились на углу улицы, под дождем, когда ты сказала мне, что между нами все кончено, навсегда, и что ты не можешь, не хочешь больше видеть меня, разве я не оставил тебя тогда в покое?

А может быть, на самом деле ты имела в виду не конец наших отношений, а их новое начало? Когда ты бросилась от меня, а я побежал за тобой, призвал тебя к церковной стене, преградил тебе путь руками, но не сумел сказать тебе то, что должен был сказать. Я ведь не прикоснулся тогда к тебе, пока ты сама не обняла меня. Точно так же ты обняла меня в нашу первую ночь, неужели не помнишь? Было холодно, очень холодно, ты не хотела вылезать из-под одеяла, поэтому я склонился к тебе, выключил ночничок, а ты выпростала руки из-под одеяла и взяла меня к себе.

Знаю, много раз ты спрашивала себя и меня, не была ли наша первая встреча хитроумно подстроенной, не заманил ли я тебя в силки. Ни тогда, ни сегодня мне не хотелось бы считать нашу встречу случайной. Она была даром небес.

У тебя сохранились фотографии? По крайней мере, у тебя было несколько первых снимков. Их сделал твой коллега, и одна из фотографий стоит сейчас передо мной: ресторан в Милане, шумные музыканты, сгрудившиеся вокруг большого стола, я оказался рядом с тобой после того, как ваш гобоист, нарушив мое одиночество, вытащил меня из-за столика и пригласил в вашу веселую компанию. Следующие фотографии были сняты на озере Комо, у меня сохранились негативы. Мы попросили щелкнуть нас мальчика, торговавшего фруктами с лотка, мы смотрим в объектив, смущенные и влюбленные, счастливые и решительные. А еще есть фотография большого, старинного и белоснежного отеля, где состоялась наша первая ночь; в горах еще лежит снег, ты стоишь возле нашей взятой напрокат машины, на голове платок, повязанный, как это делала в пятидесятые годы Катарина Валенте. На одном снимке ты запечатлела меня, я этого даже не заметил; уже в пальто, готовый к отъезду, я стою на балконе, глядя на пустынную озерную гладь, где нет ни парохода, ни лодок, потому что еще совсем холодно. Есть и твоя фотография, где ты снята на рассвете; к ней ты подарила мне серебряную рамку.

Если у тебя возникло такое чувство, будто я тебя преследую или преследовал раньше, то мне очень жаль. Мне казалось, что мы оба страдали под гнетом обстоятельств, оба были не так свободны друг для друга, как нам того хотелось бы. Мы были заперты в клетке, каждый по-своему, хотя, возможно, твой конфликт был для тебя тяжелее, чем мой – для меня. Но и мне было нелегко, а самым тяжелым было то, что мне постоянно приходилось просить тебя о помощи. Не решаюсь просить тебя о встрече. Но знай, что я этого очень желаю.

Рольф

Он достал альбом, оставленный ранее в тайнике, разрезал сафьяновые ремешки, открыл первую страницу. Альбом тоже начинался с фотографий, сделанных в миланском ресторане: компания за столом, ослепленные вспышкой глаза, широкие от воздействия алкоголя жесты, пустые тарелки и блюда. Пустые и полные графины, бутылки, бокалы. Некоторых из коллег Лизы он узнал сразу. Они окружали мужчину, которого он до сих пор не видел. Он улыбался на каждом снимке, улыбался соседям, Лизе, фотообъективу, в левой руке поднятый бокал, правая на плече у Лизы. Затем последовали фотографии озера Комо: Лиза с Другим возле фруктового лотка, Лиза в автомобиле у подъезда отеля, построенного в стиле начала века, Лиза под пальмой на берегу озера, Лиза за столиком кафе, на котором стоят чашка кофе и стакан воды, Лиза с черной кошкой на руках. Нашелся и снимок Другого на балконе с видом на озеро. И снимок Лизы в постели. Она лежала на боку, руки и ноги закутаны одеялом, заспанное и довольное лицо смотрит в объектив.

Обнаружилось еще множество фотографий. Некоторые из домов, улиц, площадей были ему знакомы, поскольку находились в его городе, так же как замок и церковь. Ни на одной из дальнейших фотографий не было и намека на очередное путешествие. Последняя фотография запечатлела Другого шагающим по траве в плавающих и с полотенцем; выглядел он хорошо – прекрасная осанка, пружинистая походка, мягкая улыбка.

Он присмотрелся к себе в зеркале. Седые волосы на груди, старческие пятна и бородавки по телу, на бедрах жировые складки, тонкие руки и ноги. Волосы на голове поредели, на лбу, между бровями, под крыльями носа и возле уголков рта залегли глубокие морщины, узкие

губы, дряблая кожа под подбородком. Он не нашел в своем лице следов боли, скорби или гнева, только досаду.

Досада разъедала его, обращала в прах всю прежнюю жизнь. Все, что было важным для него в браке – любовь, доверительность, привычность, житейский ум Лизы, ее заботливость, ее тело, ее роль как матери его детей, – было столь же важно для остальной жизни, помимо брака. Это было важным даже для его фантазий относительно другой жизни или других женщин.

Накинув халат, он позвонил дочери. Можно ли приехать завтра? Ненадолго, всего на несколько дней. Нет, он вполне справляется с одиночеством. Просто нужно переговорить.

Она сказала, что ждет. Но в ее голосе чувствовалась какая-то нерешительность.

Утром, перед отъездом он написал ответ. Не найдясь по-прежнему, как обратиться к Другому, он начал просто с текста.

Ты слишком заблуждаешься. Да, ситуации у нас были разными – они и не могли быть общими. И почему именно тебе было так трудно просить меня о помощи? Ведь ее оказывала я. Разве трудно было не мне?

Что же касается приукрашивания, то этим ты отличался прежде, этим занимаешься и теперь. Да, фотографии у меня сохранились. Но когда я разглядываю их, они не пробуждают во мне счастливых воспоминаний. Слишком много было лжи.

Ты хочешь видеть меня. Но до возможной встречи еще далеко, если она вообще состоится.

Т.

Он уже несколько месяцев не пользовался своей машиной. Пришлось пригласить человека из мастерской, чтобы тот помог запустить двигатель. Он слегка отвык от вождения, но это не доставляло особенных неприятностей. Включив радио, он приоткрыл люк на крыше, впустил свежий весенний ветерок.

Последний раз он ехал этой дорогой вместе с женой. Она была уже очень больна, исхудала до невесомости; он спустился, неся ее, закутанную в одеяло, на руках, по лестнице, пронес по улице до машины. Ему нравилось укутывать ее, брать на руки, нести. Перед выездом он вымыл ее, причесал, чуточку надушил туалетной водой, от макияжа она отказалась. Он нес ее, чувствуя легкий запах туалетной воды, она же вздыхала и улыбалась.

Это воспоминание оставалось ничем не омраченным. Он вообще заметил, что новые обстоятельства никак не коснулись воспоминаний последних лет, лет ее болезни и смерти. Будто существовала одна Лиза, любви которой он искал и с которой он основал семью, прожил жизнь, и другая, которая медленно угасала и угасла. Будто болезнь и смерть выжгли все то, за что могла зацепиться ревность.

Дорога вела через поля и леса, мимо маленьких населенных пунктов с их образцовым порядком, свежей побелкой стен, аккуратной кирпичной кладкой, да и природа в палисадниках и садах казалась приведенной в такой же образцовый порядок с его светлой зеленью кустов и деревьев, с пестротой цветов. Улицы пустовали, дети сидели в школе, взрослые находились на работе. Иногда в промежутках между населенными пунктами попадалась встречная машина, трактор или грузовик. Он любил этот холмистый край между горами и равниной. Это была часть его и Лизиной родины, которой она хранила верность, даже когда началась его министерская карьера, приведшая их в столицу. Они не отказались от здешнего дома, дети продолжали ходить в местную школу, он метался между двумя домами, иногда приезжал на одну ночь, иногда жил несколько дней подряд, иногда целую неделю. Дети тоже были привязаны к этому краю. Если потом они и переезжали куда-то, то недалеко. До дочери можно было добраться за час, до сына – за два, а если ехать побыстрее, да еще по скоростной магистрали, то время поездки можно было сократить едва ли не вдвое. Впрочем, сейчас он не спешил.

Он попробовал настроиться на предстоящий разговор с дочерью. Что следовало рассказать ей о Лизе, о себе, о Другом? Как спросить, не разговаривала ли Лиза о нем и о Другом? По его мнению, Лиза была очень близка с дочерью, но уверенности не было. Помнилось, что Лиза и дочь любили держаться за руки, помнилось, что дочь, приходя домой, сначала звала мать, и что Лиза, уезжая с ним в отпуск, часами разговаривала с дочерью по телефону. Только все эти воспоминания относились к тому времени, когда дочь была еще подростком.

9

– О чем ты хотел поговорить со мной?

Дочь задала вопрос, застывая ему на ночь кушетку в гостиной. Он вызвался ей помочь, но она отказалась, поэтому он стоял рядом, сунув руки в карманы. Вопрос прозвучал холодно.

– Поговорим завтра.

Расправив одеяло, она выпрямилась.

– С тех пор как мама умерла, мы пытались пригласить тебя к нам; мне казалось, что нам обоим станет легче, если мы будем ближе, потому что... Ты потерял жену, я потеряла мать, к тому же Георг и дети обрадовались бы твоему приезду. На приглашения ты не откликнулся, чем очень меня огорчил. А теперь приезжаешь, хочешь говорить. Все как раньше, когда ты месяцами забывал про нас, потом вдруг в воскресенье решал отправиться с нами на утреннюю прогулку, затевал разговор. Нам ничего путного не приходило в голову, ты раздражался, поэтому лучше уж переговорить сейчас, чтобы дело было сделано.

– Неужели это было так скверно?

– Да.

Он уставился на собственные ботинки.

– Мне очень жаль. Я подолгу бывал очень занят, терял с вами контакт. Начинались угрызения совести, но я не знал, о чем с вами говорить. Отсюда даже не раздражение, а отчаяние.

– Отчаяние? – В голосе дочери послышалась ирония.

Он кивнул. «Именно отчаяние». Ему захотелось объяснить, как была устроена тогда его жизнь, как он чувствовал, что теряет доверие детей, и мучился этим. Но, взглянув на дочь, он увидел по ее лицу заведомое неприятие того, что он собирался сказать. Лицо было строгим, суровым. В нем еще угадывалась та веселая, добродушная, доверчивая девчушка, какой она была когда-то, но добаться до нее, докричаться было для него уже невозможно. Нельзя было и спросить, как жизнерадостная девчушка превратилась в суровую женщину. Оставалось задать вопросы, с которыми он приехал, даже если ответы вновь окажутся неприязненными.

– Ты когда-нибудь разговаривала с твоей матерью о нашем браке?

– Твоей матерью... Разве нельзя сказать просто «матерью» или «Лизой», как говорят другие мужья? Ты так подчеркиваешь, что она была моей матерью, словно... словно...

– Разве твоя... разве мать не говорила, что не любит, когда я ее так называю?

– Нет, она вообще никогда не говорила, что не любит чего-нибудь из того, что ты делаешь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.